

# Комбинат

рассказ

В войну жили хуже. Да и после войны — не особенно хорошо. Лучше нынешнего никогда не жили.

Городок называется Либкнехтск, но многие по привычке зовут его Комбинатом, хотя сам комбинат несколько лет уже не работает, зарастает кленами и травой. Ветшает и дом Японца. Хозяин его, Сашка Оберемок, из местных, в Японию убежал. А, может, и не в Японию, нету разницы: из жителей городка за границей побывал только дядя Женя, он в начале восьмидесятых в Польше служил.

— Расскажи, дядь Женя, как ты был за границей.

Надо поговорить о чем-то, не сидеть же так.

— Они, значит, бузить начали...

— Кто — они-то?

— Кто-кто — поляки. Мы приехали, ракеты раскинули...

— И что поляки?

— Да черт их знает! Что нам, докладывают? Наше дело — позицию заныть. У нас там четыре округа было. Расположились, раскинулись...

События происходят редко и плохо помнятся. Скоро три года, как закрылся Либкнехтский бумкомбинат, ЛБК, — что называется, градообразующее предприятие: конденсаторная, кабельная бумага, фильтровальный картон, гофроящики, десятки видов продукции. Со сбытом были, конечно, трудности, но работали. Валы крутятся, на валах сукно, поверх — бумажная масса сушится. Оборудование уникальное, сделано еще в ГДР.

Никто не задумывался, кому принадлежит комбинат, все ведь было всегда государственное. Трудовому коллективу, то есть работникам. А работникам надо что? — чтоб зарплату платили вовремя или хотя бы с небольшим опозданием, а во всяких там формах собственности мало кто разбирается. Менялись директора, жили как-то, работали. Жилье строили, и не только себе — учителям там, врачам.

Потом в город вернулся Сашка Оберемок, и стало понятно, кто на комбинате хозяин. Мог и в зубы дать и руку сломать или вывихнуть, как татарину одному, Сашка почему-то татар не любил. Но не только татар. Перед тем врезал девке-официантке, Сашка когда-то учился с ней — неприятно ей, понимаешь

ли, обслуживать одноклассника. Говорили, нос ей сломал. Ну, она не стала подавать заявления.

А дом он построил большой, из красного кирпича, с башнями, чтобы было понятно, как он, Сашка, поднялся. Одним электрикам остался должен чуть ли не миллион — вот такой дом. Говорили: семья приедет, но никто и не видел эту семью. А Сашка в самом деле поднялся как следует, — депутат, не федеральный пока, областной, — депутат, хотя самому еще сорока не исполнилось.

Поначалу у него и на комбинате неплохо шло: взял кредиты, премии мужикам повыписывал. И себя не забыл — фирмы появились в городе новые, все его, Сашкины. А потом разладилось, перестал зарабатывать комбинат. Мужики бузят, что поляки твои. Работать, правда, не бросили.

Начальник из области приезжал, рабочих послушал внимательно.

— Я понимаю вас, — сказал, — что вы попали в такую ситуацию. Но не только вы, лесопромышленный комплекс везде сейчас валится.

И чего бузить, раз везде? Как говорится, в войну жили хуже. Кто-то из женщин выкрикнул:

— Александр Юрьевич только на освещение своего дома денег три миллиона истратил!

Начальник вздохнул:

— На освещение или на освящение? — и заседание закрыл.

Перед отъездом загадочную вещь произнес:

— У вас есть права, вы просто не знаете, как ими пользоваться.

А что фенола в воде больше нормы — вопрос, говорит, подняли правильно, обсудим его на правительстве. Это уже когда в автомобиль садился, бочком, ботинки отряхивал, зима в том году была длинная, снежная. Обещал, между прочим, с мазутом помочь, во всем городе отопление от комбината зависело. Еще, люди видели: когда проезжал мимо храма, перекрестился на храм.

Сашка тоже тогда в президиуме сидел, жевал. Он все время жевал, все последние месяцы, говорили: курить бросил, поэтому. Уже перед майскими, после суда — проценты, кредиты, банкротство, короче, полнейшее, люди даже начали Сашку жалеть: свой все-таки — объявился парень какой-то, пиджак с полосками, а на голове хвост. Кризисный управляющий. Денег он Сашке привез, чуть ли не миллион долларов, чтобы, значит, ушел по-тихому, передал комбинат новым собственникам, вместе с фирмами. Но Сашка — его, видать, разозлил этот кризисный управляющий — достает, значит, Сашка изо рта жвачку и парню — в нагрудный карман. В приемной у себя, секретарша видела. И денег не взял. А на майские заплатил мужикам несколько, и те сукно на машинах изрезали — не склеить его, не сшить, и не на что поменять. Дал-то рублей по пятьсот, но мужики и тому рады. Всё, встали машины, так и стоят.

— Как же ты, дядя Жень? — Дядя Женя тоже резал сукно. А что он ответит, если начальник ему приказал?

Тут совсем другие какие-то люди приехали, без хвостов, и Сашка убыл в Японию.

Что еще помнят? Помнят, как он с третьего этажа своего по козам стрелял, если заходили на территорию, но не попал ни разу, и стрелял-то, наверное, — попугать. Портрет остался, огромный, метра три в высоту: Александр Юрьевич Оберемок, в горностаевой мантии. И дата рождения. В каком Сашка родился году, известно и так, у него на одной руке было имя наколото, на другой — год. А на портрете он на себя не похож: можно сравнить, в Интернете до сих пор, говорят, имеются Сашкины фотографии.

Почти что три года прошло. Город живет. Так себе, не ахти, но лучше никогда и не жили. Область дает мазут, котельная функционирует, есть отопление в домах, даже вода горячая. Мужики кто в охрану устроился, кто в такси. Дядю Женю поставили на учет в центре занятости. Поэтому комбинат, Сашка Оберемок — это прошлое. А в настоящее время так: в Либкнехтской городской больнице, в реанимации, на аппарате искусственного дыхания лежит молодая женщина, Аля Овсянникова. Каждый день в больницу приходит муж, его не пускают, да он и не просит врача ни о чем. Мужа женщины зовут Тамерлан, врача — Виктор Михайлович.

\*\*\*

К Виктору Михайловичу хорошее отношение. Во-первых, не пьет, во-вторых, человек он немолодой, с опытом, машину свою аккуратно водит и держит в порядке: всегда чистая, на ходу, одна и та же все восемь лет, что Виктор Михайлович в городе.

— Современный автомобиль устроен не менее сложно, чем человек. — Когда Виктор Михайлович говорит о машине, лицо его проясняется. — Одних только разных жидкостей в нем семь штук: тормозная, охлаждающая и так далее. — Он помнит все семь и своевременно доликает, меняет их.

В Либкнехтск его в свое время переманили из-за сертификата по анестезиологии-реаниматологии, город тогда квартиры еще мог выделять. А иначе хоть закрывай больницу — не прошла бы она лицензирования, пришлось бы всему комбинату обслуживаться неизвестно где. Операций мало, и наркоз дает анестезистка, сестра, но невозможно ведь без лицензии.

— Если надо, то надо, все правильно. Не дурее нас люди законы писали, наверное.

Виктор Михайлович получает полставки реаниматолога и целую — терапевта, он и есть скорей терапевт, хотя в жизни попробовал разное, сертификаты имеет по многим специальностям, включая организацию здравоохранения. Показатели у него одни из лучших в области: план выполняется, диспансеризация проведена, да и в отделении порядок — сам он никуда в рабочее время не отлучается, трезвый всегда, даже в праздники. Посещения с шести до восьми, в палату реанимации, естественно, посторонним нельзя.

Виктор Михайлович лечит капельницами — и бабкам легче, все же внимание, и план. Полежала, прокапалась и — домой, к телевизору, через полгода придешь — опять капремонт. Где-то он слышал — так называют капельницы, от всех болезней, у бабок их целый букет:

— Чего вы хотите? Диагноза «старость» никто, кажется, не отменял.

Бабки ходят к нему, а к кому им ходить? Из терапевтов также имеются два участковых, две женщины, да только их к обеду уже на работе нет. Они говорят: вызыва́, но все понимают про их вызыва. Обе уже пенсионного возраста: кадровый голод, но это везде сейчас так.

— Раньше существовало распределение, — говорит Виктор Михайлович, однако общие темы предпочитает не развивать.

Когда-то, бывало, думал: что плохо, что хорошо, а с годами — к жизни, к себе — привык. Как все, старается избегать неприятностей. Если просят назначить то или другое лекарство или обследование, в область послать, Виктор Михайлович спрашивает:

— А оно тебе надо? — но посылает, как правило: не пошлешь, могут жалобу накатать. Ничего страшного в жалобах нет, но приятней ведь ехать по ровной дороге, а не по выбоинам.

Рабочий день с восьми до шестнадцати. Потом все вопросы к дежурным врачам. Не любит Виктор Михайлович, когда пристают с вопросами — от чего то да это да чем лечить:

— Посмотри в Интернете. Там много написано.

Сам он компьютеры не использует. И новый аппарат ИВЛ — такие прислали во все больницы, по программе модернизации, — стоял до прошлой недели несобраным.

— Старый пес новых фокусов не учит, — любимое его выражение. Еще: — На землю спустись.

Овсянникова больная тяжелая. Тяжелых, да еще молодых, переправляют в область, если успеют. А если нет, то через дорогу, за гаражами — красное здание. Каждый неблагоприятный исход, особенно в трудоспособном возрасте, заставляет в какой-то мере переживать. Понятно, со стариками вопросов нет: в семьдесят или восемьдесят — какая реанимация?

— Имеет право, — отзывается Виктор Михайлович, когда сестры ему сообщают — понятно, о чем. Вытаскивает историю, принимается заполнять. Смотреть не идет — мало он видел покойников?

Но Овсянникова — случай особый, Виктор Михайлович рассчитывает, что она проживет еще месяц с лишним, точнее — пять недель. Хотя кора головного мозга безвозвратно повреждена, но сердце еще работает, а дыхание обеспечивает аппарат. Состояние, что называется, крайне тяжелое.

— Тяжелое, но стабильное, — отвечает Виктор Михайлович, если не получается сделать так, чтобы с Тамерланом, мужем Овсянниковой, пообщалась бы медсестра. Всем неприятно иметь дело с родственниками.

В прошлую пятницу Овсянникову доставили в больницу рожать, экстренно, до области уже было не довезти. Роды в больнице случаются редко, проходят не очень организованно. Виктор Михайлович участия не принимал, и без него найдется кому побегать и покричать. Овсянникову увидал только ближе к концу рабочего дня, когда она родила, и ребенка увезли в область, а саму ее наверх подняли. Брат не хотел: звоните, вызывайте санавиацию, у него тера-

певтическое отделение. Но потом взял — а не дождутся санавиации, кому отвечать? Как-никак Виктор Михайлович реаниматолог, а тут молодая женщина, давление под триста и судороги: только один припадок закончится, сразу другой.

Пока спускался-поднимался по лестницам, у самого стал затылок болеть. Зарядили Овсянниковой капельницу одну, другую, полечил ее Виктор Михайлович много чем, разным, пока областную бригаду ждал. Давление сначала не хотело снижаться, а потом после рвоты упало совсем. Но тут подъехала санавиация на желтом «Фольксвагене», им реанимобили поставили новые, тоже по этой самой модернизации.

Раньше, наверное, надо было им позвонить. Но Виктор Михайлович санавиацию вызывает лишь в крайних случаях: приедут, разного наговорят, будут его медицине учить. Ладно бы только авторитет страдал, а то ведь и не уйдешь, пока они в отделении, надо потом, как говорится, поляну накрыть. Сам Виктор Михайлович почти не употребляет, у него давление.

Новый какой-то приехал, рыжий, лет тридцать на вид. Виктор Михайлович раньше его не видал. Пуховая куртка, короткий халат, на шее ключи болтаются. Заявляет с порога:

— Давайте, рассказывайте.

Чего он должен давать? С женой будешь так разговаривать. Ну, давление было высокое, судороги.

— Ясно все. Эклампсия. Лечили чем?

Виктор Михайлович держит себя с трудом. Давление снизили? — снизили. Что ты в лист назначений заглядываешь? Может, ампулы показать? Какая же эклампсия, если она уже родила?

— Бывает. В первые сорок восемь часов. Слушайте, да она не дышит у вас!

Потом Виктор Михайлович не очень запомнил: у самого ноги ватные, в глазах туман. Но тоже помог, поучаствовал. Этот трубку поставил, собрал аппарат, наладил искусственное дыхание. Глядя на то, как он ручки крутит, нажимает на светящиеся прямоугольники, Виктор Михайлович не выдерживает:

— Хорошо вам, молодым, вы иностранные языки знаете. А нам до всего своим умом пришлось доходить.

И чего он смешного сказал?

Закончили, сняли перчатки, пошли в ординаторскую. Трудный был день, надо расслабиться. Звать его то ли Эдиком, то ли Эриком, Виктор Михайлович не разобрал. Ему — полную рюмку, себе на доньшке.

— Что теперь? — спрашивает Виктор Михайлович. В смысле: не забереешь? Понятно, что нет. — А если придет в сознание? Руки бы надо, наверное, зафиксировать?

Парень пожимает плечами:

— Вряд ли. Мозги, похоже, уже того...

Ясно. Ничего не поделаешь.

— А что она за человек? По виду вполне социальная.

Кто его знает? По виду — да. Такие вопросы, лучше не концентрироваться на них.

— И какой тут у вас контингент? Бабки одни, наверное?  
Кто же еще?

— Бабки, да. И рабочий класс.

Опять смеется:

— Я думал, он только в книжках остался, рабочий класс.

Посидели, поговорили о всяком, не относящемся. Например, когда уже дороги нормальные сделают. Вот, кстати, Виктор Михайлович давно хотел выяснить:

— А правда, на тех «Фольксвагенах», что у вас, двигатели оппозитные?

Парень смотрит на него не поймешь с каким выражением.

— В Интернете, — советует, — посмотрите, там точно есть. А насчет нее, — кивнул в сторону реанимации, — звоните. — Оставил свой телефон.

Как можно ездить на автомобиле и не интересоваться, какой у него цилиндровый ряд? Виктор Михайлович хоть и устал, а еще задержался, дооформил историю. Лучше сразу, а то вылетит из головы к понедельнику. Эклампсия, значит. Пусть так. Смотрит в справочник: код — 015. И никаких посторонних мыслей. Иначе с ума сойдешь, будет эмоциональное выгорание.

В начале недели этот, из санавиации, позвонил сам:

— Как она, не пришла в себя? Тогда — всё, наверное?

Нет уж, Виктор Михайлович попробует ее поддержать. Сорок два дня.

— Откуда цифра такая странная?

Что же ты, академик, не знаешь простых вещей? — думает Виктор Михайлович. Сорок два — шесть недель. В первые шесть недель после родов это считается как материнская смертность, а если потом, то нет. Порядок такой. Что, не пишут про это в твоих интернетах? На землю спустись. Вот так.

\*\*\*

Аля Овсянникова девяносто первого года рождения. Алина мать умерла родами, никто не знает, что стало с отцом. Дядя Женя — ее единственная родня, отчество Али — Евгеньевна. Но спрашивать его о родителях дело пустое: дядя Женя и Польшу не помнит, в которой служил. Не так уж он выпивает сильно — как все, но что-то с ним в последнее время сделалось. Тамерлан считает: потому, что он машины на комбинате тогда поломал. Еще говорит: молодец, что маленькой не отправил ее в детдом, девяностые годы были для всех трудные. Але даже не приходило в голову про детдом.

Что она помнит сама, первое? — Вот, перед горячей печкой дядя Женя купает ее в тазу. Прежде они очень часто топили печку, Алина обязанность была — кору отдирать у дров. Конечно, можно газет напихать, но корой разжигать интереснее. Что еще? Аля хорошо умела искать грибы, у нее была книжка специальная, читать Аля научилась в детском саду и знает, как все грибы называются.

Как она обходилась без матери? — спрашивает Тамерлан. Ей не с чем сравнивать. Тамерлан часто задает вопросы, на которые она не знает, что отвечать. Нет у Али привычки рассказывать о себе. Да и ее знакомые — соседи, учителя,

одноклассники — говорят помалу, как будто с трудом. В большинстве своем люди не наглые — робкие, так она думает, и Аля тоже не наглая, и голос у нее негромкий, но к концу она иногда неожиданно повышает его. Еще она высоко держит голову, будто с каким-то вызовом, но это опять-таки только кажется.

В школе она училась ни плохо, ни хорошо, не интересовалась отметками, особенно после истории с гусеницей, с задачей про гусеницу из колодца. За день она поднимается на три метра, за ночь сползает на два, на какой день она вылезет? Колодец — пять метров.

Аля сидит в своей комнате в сумерках, уже дядя Женя вернулся со смены, из-за марлевой занавески слышно, как жарится лук. Значит, они будут ужинать гречневой кашей с луком. Дядя Женя зовет ее. — Да, сейчас! Она себе воображает гусеницу: к концу первой ночи — метр, к концу второй — два, два плюс три — пять. Значит, она выберется на третий день.

Учительница заглядывает в тетрадки, Аля тоже показывает свою. Пять, пять, у всех, кроме Али, ответ одинаковый. К ее удивлению, учительница говорит:

— Всем пятерки, а Овсянниковой — тройка.

— Ольга Юрьевна, почему не двойка тогда? — спрашивает Аля весело.

Не хочет Ольга Юрьевна портить журнал двойками, скоро в школе будет комиссия, их стали часто теперь проверять. Все же заглядывает в конец задачника, там тоже ответ — три: надо же, опечатка, а Овсянниковой лучше было бы головой своей думать, а не из книжки списывать, и вообще — она что же считает — весь класс дураки, она одна умная?

Аля почти не плачет, да и не от чего особенно, но когда все же плачет, то лоб ее покрывается красными пятнами. А так она, конечно, красивая, тонкая, пальцы длинные, все удлиненное — рот, глаза. Волосы светлые, золотистые, подружки завидуют Алиным волосам. Жаль, говорит Тамерлан, в доме нет ни одной детской ее фотографии, только школьные, официальные, на них все выглядят не такими, как есть.

Дом, вернее полдома, две комнаты, школа, кусочки природы на фоне асфальта, труб. Другого пейзажа Аля не видела. Неподалеку от школы — одинокий заброшенный памятник: «Карлу Либкнехту, рыцарю мировой революции». Сутулый, в круглых очках, с маленькой головой, чем-то он Але нравится, она иногда приходит рядом с ним постоять. Потом узнаёт, что кнехт — не рыцарь, а раб, слуга, и вовсе даже не революции, сообщает о своем открытии девочкам, те смеются — надо же, какой ерундой занята у Овсянниковой голова. У них уже — поклонники, кавалеры, одним словом, мальчишки, Аля после школы сразу идет домой или сворачивает куда-нибудь в сторону, но одна, у нее нету близких друзей. Девочки дразнятся: жди своего Карлу. Пускай: ей скучно с ровесниками, они только и могут что пиво пить и говорить матерные слова. Аля называет такие слова матными.

Как она оказалась в милиции? Место освободилось, а дядя Женя к тому времени перестал зарабатывать, на одну ее пенсию жили — Але платили как сироте, но ведь это только до восемнадцати. И форма — темно-синяя юбка, светло-синяя блузка — ей нравится. У делопроизводителя работы немного: сиди таблички перепечатавай, а больше — книжки читай. Стол ее — возле

окна, светит солнце, волос падает на страницу, она подбирает, вытягивает его... Почему она после школы никуда не уехала? — спрашивает Тамерлан. — Из-за денег? — А как бы она дядю Женю оставила? Да и нигде она еще не была, кроме области, а там все такое же, как у них в городе, только большое и много машин. И потом — разве бы она тогда его встретила? Аля знает, Тамерлан поэтому и спросил.

Высокий, худой, сутулый, он появился на майские праздники с перевязанной левой рукой. Болела она у него, видно, сильно, потому что он постоянно морщился, трогал повязку, пот вытирал со лба. Сказал: хочет подать заявление, справки принес. — Кто его так?

— Оберемок, — говорит Тамерлан. — Александр Юрьевич.

Тут уже не только дежурный, тут и другие милиционеры услышали, подошли, и Аля тоже книжку свою захлопнула — всем известно, кто такой Александр Юрьевич. — А за что? Выясняется: Тамерлан отказался портить машины и денег не взял у Оберемка, и не только сам отказался, но и другим хотел помешать. Он просит возбудить уголовное дело. Им видней, по какой статье.

В бумажных машинах милиционеры не разбираются, но заявление на Александра Юрьевича — событие, конечно, из ряда вон. А гражданин, наверное, выпил по случаю праздника? На майские много травм. — Нет, Тамерлан не пьет, он знал, что вопросы будут, попросил себя освидетельствовать. Достает еще справку. Брюки у Тамерлана грязные, порванные, впечатление от него жалкое. — Может быть, он подумает? Директор, хозяин. После такого... — Пусть заявление примут, они обязаны. — Ладно, что делать, давай, говорят, пиши. — Он не может, у него рука сломана или вывихнута. Тамерлан левша.

— Идите ко мне, — говорит Аля. — Я напишу.

Так они познакомились. Потом Аля его к себе отвела, починила ему штаны. Дядя Женя поздно пришел в тот вечер и не в том состоянии, чтобы о чем-то спрашивать. Когда закончились праздники, подали заявление в ЗАГС, снова Аля писала. Пока ждали свадьбы, рука у него зажила, а про первое, милицейское, заявление, никто уже, понятно, не вспоминал. А свадьба была скромная, тихая, у Тамерлана в городе никого из родни нет. «Горько» кричали, Тамерлан ее целовал.

Удивительно: у него нету татуировок. Аля мало видела в своей жизни раздетых мужчин — у дяди Жени, к примеру, орел на груди, группа крови и всякое разное. Она думала, мальчики так с наколками и рождаются? — смеется над ней Тамерлан. И водки он правда не пьет — ни водки, ни вина, ничего. Не то что строго соблюдает обычаи, но приучили так. Тамерлан ей признался: однажды он выпил все-таки, очень много — плохо было ему потом. Сосед продавал «Волгу», универсал, пикап — Аля в машинах не понимает — так вот, Тамерлану она приглянулась, а денег не было, и сосед предложил: выпьешь со мной — отдам за половину цены. Просто захотелось ему напоить татарина. Но слово сдержал, машина сильно их выручает теперь, когда на комбинате работы не стало. Тамерлан на ней и в такси, и грузы по магазинам развозит разные — что дадут, то и возит, не отказывается ни от чего.



Живут они втроем с дядей Женей, полтора уже года живут. Дяде Жене стали платить в центре занятости — больше, чем в последнее время на комбинате он получал, Тамерлан каждый вечер встречается Алю возле милиции. У них планы: что-то достроить, мягкую мебель купить или съездить куда-нибудь, оба ни разу моря не видели, и хочется и того, и другого, о чем Аля не думала и мечтать. Но ни мягкая мебель, ни Черное море не слишком Алю волнуют, все приходит само — встретила же она своего Либкнехта, ни искать не пришлось, ни ждать. А потом она забеременела.

Аля, странно, даже не думала о такой возможности, а Тамерлану, наверное, хотелось детей — ему уже тридцать лет. Хотя они и про это тоже не разговаривали. Смотреть, как меняется Алин живот, трогать его, оказалось еще интереснее, чем мечтать обо всяких морях. Имена подбирать. В больницу не обращались, один только раз — сходила на ультразвук, что-то сказали ей, Аля не поняла, просила только не говорить — девочка или мальчик, ей пока не хотелось знать. У беременных часто бывают странности. Так все и шло, до шестого примерно месяца, когда у Али стали руки, ноги, лицо отекать, и Тамерлан повез ее в область, к врачам, и Алю положили на сохранение. Ничего ужаснее в ее жизни не было, говорит она.

Во-первых, руки истыкали — ставили капельницы, это ладно, Аля бы вытерпела, но зачем-то, жалуется она, одежду отняли и, главное, телефон — заведующий считает, беременным нельзя разговаривать по телефонам — сигналы, волны какие-то, она, короче, не поняла. И никаких посещений — все боются инфекции. Аля сидит на койке и плачет, за всю свою жизнь она столько не плакала, а потом идет в кабинет к заведующему, а там дядька сидит, страшный, лысый такой, загорелый...

Тамерлан ее обнимает, целует ей лоб, глаза.

...Загорелый, прямо коричневый. И всюду, по всему кабинету, иконы огромные, красные, с золотом, она ни у кого не видела столько икон. И грамоты, тоже золотые, серебряные. И она говорит дядьке нормальным голосом, чтобы ясно было, что она не сошла с ума, что просто хочет домой, и ей нужны вещи и телефон. А дядька отвечает, что ничего она не получит, что ей осталось лежать тут то ли двенадцать, то ли четырнадцать дней, как положено, и когда она все-таки начинает плакать, то он смеется и советует обратиться в милицию, но тут она вспоминает, что она сама из милиции, и ей отдадут и вещи, и телефон, а больничные и выписки обещают прислать, и она идет на автобус, потому что не хочет ждать полтора часа, пока Тамерлан приедет ее заберет, да и у него, она знает, дела.

Много чего другого она не рассказывает Тамерлану, про то, что случилось с ней без него, и они живут еще пять или шесть недель, и это не плохое время, хотя она уже совсем себя плохо чувствует, а потом она вдруг начинает рожать, это тоже случается неожиданно — они думали, у них еще месяц есть.

Алю увозит «скорая», и Тамерлан едет следом на «Волге», и когда ее из машины выносят, он успевает увидеть ее: и Аля тоже на него смотрит — таким взглядом, какой бывает у близоруких людей, когда у них вдруг очки падают. Хотя никогда у Али не было близорукости.

\*\*\*

Дальше — известно что. Девочка родилась. Состояние Али Овсянниковой тяжелое, но стабильное. Виктор Михайлович рассчитывает, что таким оно и останется еще пять недель, но сам не очень верит в эту возможность. Трудно человека на аппарате держать, да и не может случиться, чтобы за месяц с лишним в больнице ни разу не отключилось бы электричество.

А жизнь пока продолжается. Дядя Женя ходит туда и сюда, пристаёт к мужикам:

— Земеля, курить есть?

Ему не отказывают:

— Расскажи, дядь Жень, как вы в Польше ракеты раскинули, — но большинство знают, в каком он находится положении, просто — сигареты дают.

Тамерлан вечерами готовит поесть, себе и ему, а каждое утро отправляется в область, полтора часа в одну сторону, в детское отделение (справки по телефону запрещены), и к трем-четырем — назад, к Але, вернее — к врачу: не надо ли каких лекарств? И вообще — как ее состояние?

Виктора Михайловича обижают его расспросы. Он объяснял ведь: не требуется ничего. А хоть бы и требовалось — есть указание: приобретать лекарства и средства ухода родственники не должны. Состояние стабильное.

Сегодня короткий день, пятница. Тамерлан подкараулил его на улице, когда Виктор Михайлович после рабочего дня уезжал домой:

— Как Овсянникова? Надежда есть?

Виктор Михайлович садится в автомобиль, боком, чтобы отряхнуть снег с ботинок, потом залезает в салон целиком:

— Всегда есть надежда, — говорит он, — пока человек жив.

*сентябрь 2013 г.*